

В. Г. Зебальд

Головокружения



Винфрид Зебальд

**Головокружения**

«Новое издательство»

1990

УДК 821.112.2  
ББК 84(4)

**Зебальд В. Г.**

Головокружения / В. Г. Зебальд — «Новое издательство», 1990

ISBN 978-5-98379-235-7

В.Г. Зебальд (1944–2001) – немецкий писатель, поэт и историк литературы, преподаватель Университета Восточной Англии, автор четырех романов и нескольких сборников эссе. Роман «Головокружения» вышел в 1990 году.

УДК 821.112.2

ББК 84(4)

ISBN 978-5-98379-235-7

© Зебальд В. Г., 1990  
© Новое издательство, 1990

## Содержание

Бейль, или Диковинный факт любви	6
All'estero [10]	20
Конец ознакомительного фрагмента.	35

**В.Г. Зебальд**  
**Головокружения**

© Eichborn AG, Frankfurt am Main, 1990. All rights reserved

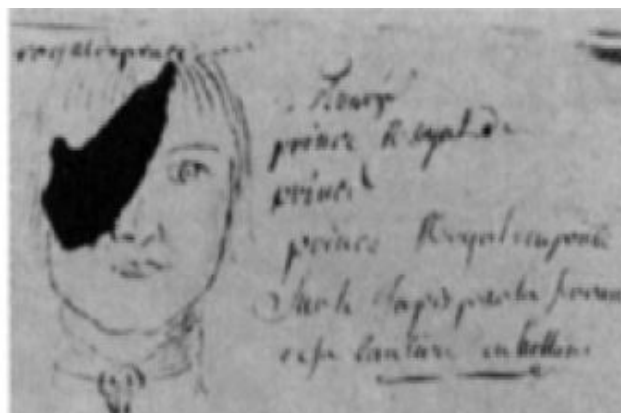
© Новое издательство, 2019

\* \* \*

## Бейль, или Диковинный факт любви



В середине мая 1800 года Наполеон с тридцатью шестью тысячами войска перешел через Большой Сен-Бернар, осуществив предприятие, до той поры считавшееся совершенно невыполнимым. Почти четырнадцать дней необозримый караван людей, животных, техники и припасов тащился из Мартиньи через Орсьер по долине Антремон, затем по бесконечным, казалось, серпантинам вверх к перевалу на высоте двух с половиной тысяч метров над уровнем моря, при этом тяжелые стволы пушек приходилось укладывать в выдолбленные бревна и волочить по снегу и льду, а местами и по свободной уже от снега скальной породе.



К числу немногих участников легендарного перехода через Альпы, не оставшихся безымянными, принадлежал Анри Бейль. Было ему тогда семнадцать лет, он как раз переживал расставание со столь ненавистными ему детством и юностью и не без энтузиазма предвкушал

вступление на поприще армейской службы, которое, как мы знаем, впоследствии открыло ему многие пути на просторах Европы. Записки, которые он набросал в возрасте пятидесяти трех лет – тогда он на время осел в Чивитавеккье – и в которых пытался воскресить в памяти тяготы тех дней, наглядно демонстрируют самые разные сложности воспоминания. Кое-где его представления о прошлом сводятся к одним только панорамам бескрайних серых полей, а иной раз он внезапно натывается в памяти на картины столь поразительной ясности, что, кажется, сам не решается принимать их на веру; таков, например, образ генерала Мармона, якобы встреченного им в Мартины с левой стороны от дороги, по которой тащились обозы, при этом генерал, как представляется Бейлю, был облачен в мундир члена Государственного совета, с небесно-голубой по темно-синему нашивкой; в точности таким, уверяет нас Бейль, видит он его и поныне, стоит лишь, закрыв глаза, вызвать в памяти давнюю сцену, хотя, как ему прекрасно известно, Мармон должен был быть в генеральской форме, а вовсе не в синем штатском наряде.

Уверив нас, что по причине нелепейшего воспитания, направленного исключительно на развитие навыков, почитаемых третьим сословием, сам он к тому моменту имел конституцию четырнадцатилетней девицы, Бейль пишет, что трупы лошадей по обочинам и прочий хлам, какой ползущая вперед армия оставляла за собой, оказали на него воздействие, которое лишило его возможности сохранять и впредь ясное представление о том, что именно тогда пробуждало в нем ужас. Словно чрезмерность впечатления, так ему представляется, грубым насилием разрушила последующие воспоминания. По этой причине приведенный ниже рисунок следует рассматривать как своего рода вспомогательное средство – с его помощью Бейль пытается вызвать в воображении картину того, что было в действительности, когда воинское подразделение, в составе которого он двигался вперед, угодило в районе деревни и крепости Бар под обстрел. *B* – это местечко Бар. Три буквы *C* в правой верхней части рисунка обозначают пушки крепости, которые обстреливают точки *L, L, L* на дороге, тянущейся по верху крутого склона *P*. Буквой *X* отмечено место внизу, в пропасти, где лежат лошади, что, в ужасе оступившись, рухнули вниз – и их уже нельзя было спасти; *H* означает Анри (Henri), позицию рассказчика. Конечно, когда Бейль действительно был в той точке, он видел происходящее иначе, поскольку в реальности, как мы знаем, все всегда по-другому.



Впрочем, пишет Бейль, даже в тех случаях, когда речь идет о воспоминаниях, сохраняющих определенную близость к реальности, полагаться на них все же не стоит. Не менее яркое впечатление, чем великолепное явление генерала Мармона в Мартины, в самом начале подъема, произвела на него открывшаяся сразу же после преодоления наиболее трудного участка

пути – спуска с перевала – долина Сен-Бернар в утренних лучах солнца. Он не мог оторвать взгляд от этой прекрасной картины, а в голове у него все время крутились итальянские слова – *quante miglia ci sono da qui a Ivrea* и *donna cattiva*<sup>1</sup>, – за день до того впервые услышанные от священника, у которого он квартировал. Бейль пишет, что долгое время пребывал в уверенности, будто помнит эту дорогу верхом до мельчайших подробностей, в особенности же картину, какую при угасающем свете дня явил собой впервые открывшийся ему с расстояния примерно в три четверти мили город Ивреа. Там, где долина, расширяясь, медленно переходит в равнину, лежал этот город, чуть правее центра, в то время как слева, сколько хватало глаз, вздымались горы – все выше и выше к вершине Резегоне-ди-Лекко, которая впоследствии будет значить для него так много, а совсем уж на заднем плане высилась Монте-Роза.

Для него, пишет Бейль, стало глубоким разочарованием, когда несколько лет спустя, перебирая старые бумаги, он наткнулся на гравюру под названием «*Prospetto d'Ivrea*» и вынужден был признаться себе, что картина лежащего в закатных лучах города из его якобы собственных воспоминаний представляет собой не что иное, как копию этой самой гравюры. Потому и не следует, советует Бейль, приобретать гравюры с хорошими видами на встреченное в пути. Ибо вскоре гравюра целиком завладеет тем местом в памяти, которое отведено для собственного нашего воспоминания об этом, и, можно сказать, разрушит его. К примеру, чудесную «Сикстинскую Мадонну», виденную в Дрездене, Бейль, как ни старался, вспомнить не мог совсем, поскольку ее образ вытеснила гравюра, сделанная с картины Мюллером, а вот дрянные пастели Антона Менгса из той же галереи, гравюр с которых он позднее нигде не встречал, отчетливо отпечатались в памяти.<sup>2</sup>

Все дома и общественные территории в Иврее заняты были стоящей биваком армией, однако для себя самого и капитана Бюрельвилле, вместе с которым Бейль вошел в город, ему удалось все же устроить квартиру – в складском помещении красильни между бочонков и медных котлов, со всех сторон овеиваемую странными кисловатыми запахами, причем едва спешившись, он вынужден был защищать ее от мародерствующей толпы, жаждавшей сорвать с петель ставни и двери, чтобы бросить их в костер, разведенный посреди двора. Не только поэтому, но и вследствие всего пережитого в последние дни Бейль чувствовал себя взрослым и, невзирая на голод и чрезвычайную усталость, не принял во внимание предостережения капитана, когда в порыве предприимчивости поспешил в эмпорий, где, как он знал уже из многочисленных афиш, давали в тот вечер «*Il Matrimonio Segreto*»<sup>3</sup> Чимарозы.

Фантазия Бейля, и без того по причине царившего вокруг хаоса приведенная в состояние брожения, теперь, благодаря музыке Чимарозы, разыгралась еще сильнее. Уже в первом акте, в том месте, где тайно вступившие в брак Паолино и Каролина соединяют голоса в исполненном страха дуэте: «*Cara, non dubitar: pietade troveremo, se il ciel barbaro non è*», он и вправду поверил, будто стоит на подмостках примитивной сцены и даже в самом деле находится в доме тутого на ухо торговца из Болоньи, держа в объятиях его младшую дочь. И столь сильно тогда сжалось его сердце, что далее в ходе представления на глазах у него то и дело выступали слезы, а покидал он эмпорий уже в совершенной убежденности, что актриса, певшая Каролину, вне всякого сомнения, не раз обращала свой взор прямоком на него и, конечно, способна подарить ему обещанное музыкой блаженство. При этом ему не мешало ни в коей мере, что левый глаз обладательницы сопрано заметно косил в сторону, когда она преодолевала сложные колоратуры, а во рту отсутствовал правый верхний глазной зуб; недостатки лишь крепче привязывали восторженное чувство. Теперь он знал, где следует искать счастья; не в Париже, как полагал он прежде, будучи в Гренобле, и не в горах Дофине, о которых порой тосковал в Париже, но

<sup>1</sup> Сколько миль до Ивреи?.. дурная женщина (*ит.*).

<sup>2</sup> Панорама Ивреи (*ит.*).

<sup>3</sup> Тайный брак (*ит.*).

именно здесь, в Италии – в такой музыке, подле такой вот певицы. И эту убежденность не могли поколебать сальные шутки капитана о сомнительных нравах актрис, которыми тот дразнил Бейля на следующее утро, когда они, оставив Иврею позади, уже скакали в направлении Милана; Бейль остро ощущал, как движения его сердца щедро изливаются на просторы летнего ландшафта и в ответ его отовсюду приветствуют свежей зеленью бесчисленные деревья.<sup>4</sup>



23 сентября 1800 года, примерно через три месяца после прибытия в Милан, Анри Бейль, до сих пор исполнявший письменные работы в бюро посольства Французской республики в Каза Бовара, был прикомандирован сублейтенантом к 6-му драгунскому полку. Необходимые дополнения для его униформы вскоре получили денежное выражение, причем расходы на лосины, на шлем, от затылка до темени украшенный стриженным конским волосом, на сапоги, шпоры, поясную пряжку, португею, эполеты, пуговицы и знаки различия намного превзошли обычные его расходы. Теперь, правда, ловя свой новый облик отраженным в зеркале или, как ему казалось, в глазах миланских женщин, он чувствовал себя преобразенным. Чувствовал себя так, словно ему наконец удалось выбраться из собственного коренастого тела, словно высокий расшитый стоячий воротник в действительности удлинил его короткую шею. Даже широко расставленные глаза, из-за которых, к большому его огорчению, его нередко называли *Le Chinois*, стали вдруг казаться исполненными храбрости и решительно сдвинулись в сторону воображаемого центра. Дни напролет проводя в погоне за обмундированием, семнадцатилетний драгун таскал повсюду свою эрекцию, однако расстаться с привезенной из Парижа невинностью решил не сразу. Имя, как и лицо, той <sup>5</sup>*donna cattiva*, что ассистировала ему при этом, впоследствии он предпочел более не вспоминать. Мощное ощущение, пишет он, стерло в нем все воспоминания. Но в последующие недели Бейль столь основательно предался учебному процессу, что в ретроспективе вступление его в мир было оттеснено куда-то на задний план воспоминаниями о визитах в городские бордели и – уже к концу года – болями вследствие заражения, а также лечения йодистым калием и ртутью. Все это, однако, не мешает ему в то же время всесторонне разрабатывать еще одну, гораздо более отвлеченную страсть. Его потребность в обожании избирает своим предметом Анджелу Пьетрагруа, возлюбленную его товарища Луи Жуанвиля, даму, которая лишь изредка дарит некрасивого юного драгуна иронически сострадательным взглядом.

---

<sup>4</sup> Дорогая, прочь сомненья: обретем мы утешенье, Небеса нам не враги (*ит.*).

<sup>5</sup> Китаец (*фр.*).



Лишь одиннадцать лет спустя, когда Бейль после долгого отсутствия вновь нанесет визит Милану и Анджеле, своей незабвенной, которая едва его помнит, он наберется мужества изъяснить ей свои возвышенные чувства. Одержимость странного влюбленного придется Анджеле не очень-то по нраву, и она попытается разрядить обстановку, предложив отправиться к вилле Симонетта, знаменитой своим невероятным эхом, повторяющим звук пушечного выстрела до пятидесяти раз. Однако ее стратегия замедления потерпит крах. Леди Симонетта, как отныне станет он называть Анджелу Пьетрагруа, будет вынуждена в конце концов капитулировать перед безумным, на ее взгляд, натиском красноречия, направленным на нее Бейлем. И все-таки ей удастся вырвать у него обещание, что по получении милости он без дальнейших проволочек покинет Милан. Бейль принимает условие без возражений и покидает город, по которому так долго скучал, в тот же день, не преминув зафиксировать у себя на подтяжках дату и час одержанной победы – 21 сентября, половина двенадцатого утра. Когда этот вечный путешественник вновь оказывается в дилижансе и мимо проносятся прелестные пейзажи, он задается вопросом, предостоят ли ему еще в жизни победы, подобные этой. Во время остановки на ночлег его охватывает уже привычная меланхолия, сродни тому чувству вины и собственной ничтожности, какое впервые долго терзало его на исходе 1800 года. Все лето тогда он словно летал на крыльях всеобщей эйфории, последовавшей за битвой при Маренго; с величайшим воодушевлением читал в бюллетенях все новые отчеты о ходе Второй итальянской кампании; повсюду сияло праздничное освещение, давали балы, представления на открытом воздухе, и в тот день, когда он впервые явился в новой форме, ему даже представилось, что жизнь, наконец, обрела упорядоченность внутри совершенной или по меньшей мере стремящейся к совершенству системы, в которой Ужасное и Прекрасное присутствуют в строго отмеренном соотношении. Но поздняя осень принесла с собой меланхолию. Служба в гарнизоне тяготит его все сильнее, Анджеле, по-видимому, он действительно

безразличен, вновь вспыхнула болезнь, и он то и дело, прибегая к помощи зеркала, исследует воспаления и язвы во рту и в глубине горла, как и пятна на внутренней стороне бедер.

В начале нового столетия Бейль снова слушал «Il Matrimonio Segreto» – в Ла Скала; однако, хотя театральная интерпретация была вполне совершенна, а исполнительница роли Каролины – немалой красоты, ему не удалось, как тогда в Иврее, вообразить себя участником

действия. Напротив, на этот раз он был настолько далек от происходящего, что музыка – он ничуть в этом не сомневался – едва не разбила ему сердце. Аплодисменты, громом заполнившие зал в конце спектакля, в его представлении завершили акт разрушения грозным треском, будто при сильном пожаре, и он еще долго сидел там, словно оглушенный надеждой, что, быть может, огонь поглотит и его. Одним из последних покинул он тогда гардероб театра, выходя, бросил беглый взгляд на свое отражение в зеркале и, глядя себе в лицо, впервые задался вопросом, с которым ему предстояло сражаться в последующие десятилетия: из-за чего гибнет писатель? Ввиду описанных обстоятельств ему показался исполненным особенного значения тот факт, что буквально через несколько дней после сего знаменательного вечера он прочитал в газете, что 11-го числа текущего месяца в Венеции за работой над новой оперой «Артемизия» Чимарозу настигла смерть. 17 января состоялась премьера «Артемизии» в театре Ла Фениче. Успех был феерический. Затем поползли странные слухи, будто бы Чимарозу, который в Неаполе связался с революционным движением, отравили – по приказанию королевы Каролины. Были и другие подозрения, якобы Чимароза умер от последствий жестокого обращения, каковому подвергался в неаполитанских тюрьмах. Слухи эти, источник повторяющихся ночных кошмаров Бейля, в которых все пережитое за последние месяцы самым жутким образом спутывалось в клубок, держались с чрезвычайным упорством и не затихли, даже когда личный врач Папы после специально назначенного исследования тела объявил, что причиной смерти композитора явился антонов огонь.



Бейлю потребовалось немало времени, чтобы хоть как-то успокоиться после этих событий. Всю весну он страдал приступами лихорадки и желудочными спазмами, которые лечил хинной корой, рвотным корнем да еще пастой из сурьмы и поташа – тем самым он настолько ухудшил свое состояние, что ему не раз уже казалось: это конец. Только с началом лета опасения постепенно улеглись, а вместе с ними ушли лихорадка и страшные боли в животе. Едва мало-мальски встав на ноги, Бейль, сам покуда не принимавший участия в сражениях, если не считать боевого крещения при Баре, начал с пристальным вниманием изучать места, где происходили крупные баталии последних лет. Снова и снова колесил он по столь близким его сердцу, как выяснилось теперь, ландшафтам Ломбардии, а вдали постепенно сливались серые и голубые полосы тончайших оттенков, образуя у горизонта своего рода нежное марево.

И вот, прибыв из Тортоны, Бейль стоит ранним утром 27 сентября 1801 года на широком и тихом поле – слышно лишь, как тут или там вдруг вспорхнет жаворонок, – где 25 пре-риала минувшего года, как отмечает он, ровно пятнадцать месяцев и пятнадцать дней тому назад произошла битва при Маренго. О решающем повороте в ходе сражения, свершившемся благодаря яростной атаке кавалерии Келлермана, которая в лучах заходящего солнца врезалась с фланга в основные силы австрийцев, когда, казалось, все уже было потеряно, Бейль знал по многочисленным и очень разным рассказам, да он и сам не раз рисовал себе в красках эти события. И теперь он обозревал равнину: видел отдельные мертвые деревья, рвущиеся кверху, и рассеянные повсюду, местами уже побелевшие, поблескивающие в утренней росе кости примерно шестнадцати тысяч человек и четырех тысяч лошадей, расставшихся здесь с

жизнью. Несовпадение батальных картин, которые рисовались в его воображении, с представшими теперь перед ним доказательствами, что битва в действительности имела место, – несовпадение это пробуждало в нем прежде неведомое раздражающее ощущение, чем-то похожее на головокружение. Возможно, по этой причине мемориальная колонна, воздвигнутая на поле сражения, показалась ему, как он пишет, в высшей степени жалкой. Своим убожеством она входила в противоречие как с его собственными представлениями о вихрях прошедшей битвы, так и с огромной, усеянной останками равниной, где он сейчас в полном одиночестве погружался в пучину.



Позднее, мысленно возвращаясь к этому сентябрьскому дню на поле битвы при Маренго, Бейль не раз испытывал чувство, будто в тот день провидел события будущего – все грядущие сражения и катастрофы, вплоть до падения и ссылки Наполеона, – и будто в тот миг ему стало ясно, что в армейской службе счастья ему не найти. Во всяком случае, именно в те осенние недели он принял решение стать величайшим писателем всех времен. Реальных попыток, ведущих к исполнению мечты, он, правда, не предпринимал, пока разложение империи не стало вырисовываться явно, и настоящий прорыв в литературе удался ему лишь в книге «De

Гамбург»<sup>6</sup>, которую он написал весной 1820 года, подведя своего рода итог предшествующих лет, столь же исполненных надежды, сколь и несчастливых.

В эти годы Бейль как никогда много курсировал между Францией и Италией и в марте 1818 года познакомился с Метильдой Дембовской-Висконтини в ее миланском салоне. Метильда, в те времена дама невероятной красоты и меланхолического склада, двадцати восьми лет от роду, была замужем за польским офицером лет на тридцать старше ее. По прошествии примерно года Бейль вошел в число постоянных гостей домов на piazza delle Galline и на piazza Belgioioso и своей страстью, преподносимой с молчаливой сдержанностью, почти уже завоевал расположение Метильды, но вдруг сам перечеркнул все шансы собственной непоправимой, как он вынужден был признать впоследствии, ошибкой.

Метильда отправилась в Вольтерру навестить двух своих сыновей, которые воспитывались в монастырской школе Сан-Микеле, а Бейль, не в силах не ВИДЕТЬ Метильду и несколько дней, последовал за нею инкогнито. Он никак не мог освободиться от впечатлений последней встречи с ней: вечером, накануне отъезда из Милана, когда, уже прощаясь, в передней она нагнулась поправить ботинок, все вдруг померкло вокруг него, и, стоя позади нее, он увидел, будто сквозь вязкий дым, как в густой мгле разверзлась темно-красная пустыня. Видение это привело его в состояние, близкое к трансу, и внушило ему намерение полностью переменить свой облик. Он купил новый желтый сюртук, темно-синие панталоны, черные лакированные туфли, необычайно высокий велюровый цилиндр и пару зеленых очков и в таком вот виде бродил теперь по Вольтерре, стремясь лицезреть Метильду так часто, как только возможно, пусть и с некоторого расстояния. Поначалу Бейль верил, что остается не узан, потом, к вящей своей радости, установил: Метильда бросает на него многозначительные взгляды. Он поздравил себя с первоклассно проведенной операцией и теперь непрестанно мычал себе под нос на придуманную мелодию слова «Je suis le compagnon secret et familier», казавшиеся ему весьма оригинальными. Метильда же, как нетрудно себе представить, чувствовала, что подобная затея со стороны Бейля ее компрометирует, и, когда необъяснимое его поведение стало тяготить ее слишком уж сильно, очень сухим письмом положила конец всем его надеждам на взаимность.<sup>7</sup>

Бейль был безутешен. Несколько месяцев он осыпал себя упреками и, лишь когда принял решение переработать грандиозную страсть в записки о любви, вновь обрел душевное равновесие. В память о Метильде на его письменном столе всегда лежал гипсовый слепок кисти ее левой руки, который ему посчастливилось – как он часто думает теперь, когда пишет, – получить в личное распоряжение незадолго до вышеописанного крушения надежд. Эта гипсовая кисть значит для него едва ли не больше, чем могла бы когда-нибудь значить сама Метильда. В особенности легкое искривление безымянного пальца – оно пробуждает в нем горячность и задор, каких он прежде никогда не испытывал.

В трактате «О любви» описано путешествие из Болоньи, якобы предпринятое автором в обществе некой мадам Герарди, которую он иногда называет просто Ла Гита. Эта самая Ла Гита – позднее она еще несколько раз мелькнет на периферии творчества Бейля – персонаж очень таинственный, чтобы не сказать призрачный. Есть основания полагать, что под этим именем Бейль зашифровал нескольких своих реальных возлюбленных: Адель Ребюфель, Анжелин Берейтер и, конечно, Метильду Дембовскую, а мадам Герарди, чья жизнь, как он пишет, могла с легкостью составить целый роман, вопреки всем свидетельствам в действительности не существовала вовсе и являла собой своего рода фантом, которому Бейль затем десятилетиями хранил верность. Далее, не до конца ясно, когда именно в жизни Бейля имело место путешествие с мадам Герарди, коль скоро оно действительно было. Но поскольку в самом начале трактата много говорится об озере Гарда, весьма вероятно, что в отчет о путешествии с мадам Герарди

<sup>6</sup> «О любви» (фр.).

<sup>7</sup> Сообщник я тайный и верный (фр.).

вошло многое из пережитого Бейлем в сентябре 1813 года, когда он поправлял здоровье на озерах Северной Италии.



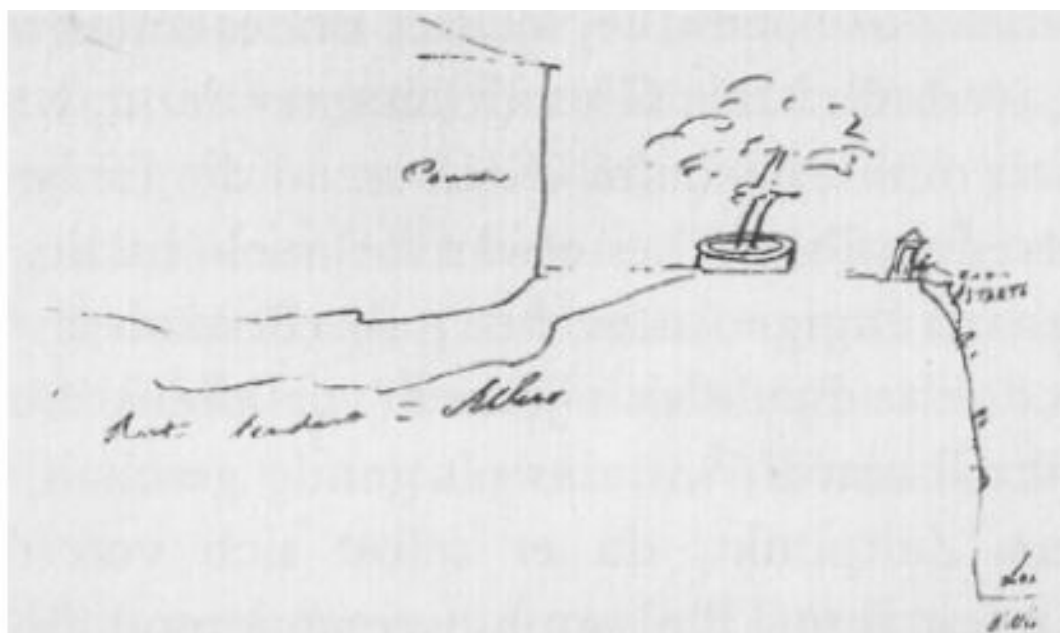
Осенью 1813 года Бейль пребывал в устойчивом элегическом настроении. Минувшей зимой он участвовал в ужасном отступлении из России, сразу после этого по делам службы провел некоторое время в Силезии, в Сагане, где в разгар лета его одолела тяжелая болезнь, и в лихорадочном бреду его помутившийся рассудок попеременно терзали картины то грандиозного пожара Москвы, то восхождения на снежную вершину, которое он собирался предпринять непосредственно перед болезнью. Раз за разом Бейль видел себя на горной вершине отрезанным от всего мира, окруженным горизонтально развевающимися снежными пеленами и пламенами, срывающимися с крыш окрестных домов.

И когда по выздоровлении он отправился в Северную Италию подкрепить силы, отпуск его определенно окрасился слабостью и благодушием, отчего ему в совершенно новом свете представились и окружающая природа, и неизбывная любовная тоска. Своеобразная, никогда прежде не испытанная легкость владела им тогда; воспоминанием о той легкости пронизан и написанный семь лет спустя отчет о путешествии, вполне вероятно имевшем место только в его фантазии, в сопровождении, скорее всего, также воображаемой спутницы.

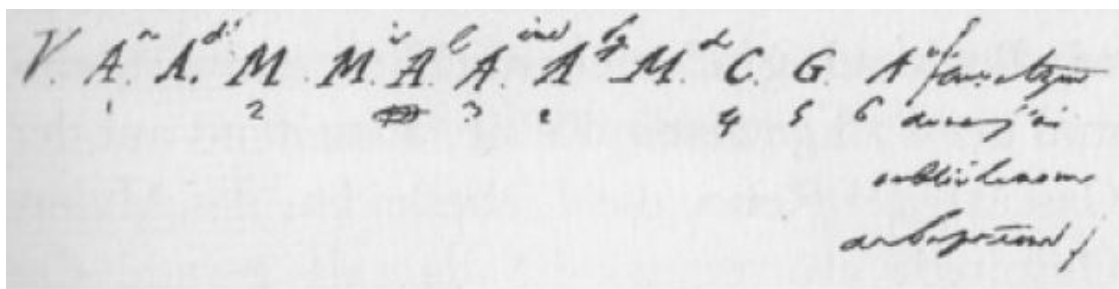
Исходной точкой повествования становится Болонья, где в первые недели июля некоего, как уже было сказано, не определимого с надлежащей точностью года стоит такая невыносимая жара, что Бейль и мадам Герарди решают провести несколько недель на более свежем воздухе, в горах. Отдыхая днем и путешествуя по ночам, они пересекают холмистые просторы Эмилии-Романьи, болота Мантуи, затуманенные сернистыми испарениями, и на третий день утром прибывают в Дезенцано – на берег озера Гарда. Никогда в жизни, пишет Бейль, не доводилось ему ощущать красоту и одиночество этих вод ярче, нежели в тот раз. Из-за невыносимой жары они с мадам Герарди проводили вечера на воде, в лодке, и с приближением темноты внимательно вглядывались в редкостные переплетения цветовых оттенков, переживая незабываемые мгновения тишины. В один из этих вечеров, пишет Бейль, они говорили о счастье. Мадам Герарди утверждала, что любовь, как и большинство благ цивилизации, – просто химера, к которой нас влечет тем сильнее, чем дальше мы отходим от природы. И пока мы продолжаем искать природу лишь в другом теле, мы удаляемся от нее, ибо любовь – это страсть, выплачивающая свои обязательства в изобретенной ею же самой валюте, и предлагает она тем

самым ложную сделку, столь же мало нужную человеку для счастья, как, скажем, устройство для обрезания гусиных перьев, приобретенное Бейлем в Модене. Или же вы готовы поверить, добавила, как пишет Бейль, мадам Герарди, будто Петрарка был несчастен оттого лишь, что ни разу в жизни не пробовал кофе?

Через несколько дней после этого разговора Бейль и мадам Герарди продолжили путешествие. Поскольку около полуночи ветер над озером Гарда дует, как правило, с севера на юг, а в последние часы перед рассветом – с юга на север, поначалу они проехали вдоль берега до Гарньяно, расположенного примерно на уровне середины озера, и там взяли лодку, на которой с рассветом прибыли в маленький порт Ривы-дель-Гарда, где двое мальчуганов уже играли в кости, сидя на парапете набережной. Бейль привлек внимание мадам Герарди к тяжелому старому баркасу с надломленной в верхней трети грот-мачтой и обвислыми желто-коричневыми парусами, который, кажется, тоже прибыл совсем недавно, и как раз сейчас двое матросов в темных куртках с серебряными пуговицами спустили на берег носилки, на которых под шелковой цветастой шалью с бахромой, по-видимому, лежал человек. Мадам Герарди была неприятно поражена этой сценой – настолько, что по ее настоянию они без промедления покинули Риву.



Чем выше забирались они в горы, тем прохладнее и зеленее становилось вокруг, и мадам Герарди, много страдавшая от пыльной летней жары у себя на родине, без усталости выражала восхищение. Мрачное происшествие в Риве, несколько раз тенью промелькнувшее в воспоминаниях, вскоре было забыто, уступив место радости, до такой степени переполнявшей теперь мадам Герарди, что в Инсбруке она даже приобрела тирольскую шляпу с широкими полями – из тех, что известны нам по изображениям крестьянских восстаний под предводительством Андреаса Гофера, – и это подтолкнуло Бейля, прежде собиравшегося повернуть здесь обратно, продолжить путь далее вверх по долине Инна, через Швац и Куфштайн до самого Зальцбурга. В Зальцбурге они пробыли несколько дней и не отказали себе в удовольствии посетить знаменитые подземные галереи соляных шахт Халляйна, где один шахтер преподнес мадам Герарди в подарок хоть и неживую, зато усыпанную тысячами кристаллов веточку; и едва они вновь вынырнули на свет дня, солнечные лучи засверкали в кристаллах с неопишным разнообразием – как сверкает порой, пишет Бейль, лишь хорошо освещенный во время бала парадный зал: брильянтами дам, ведомых кавалерами по кругу.

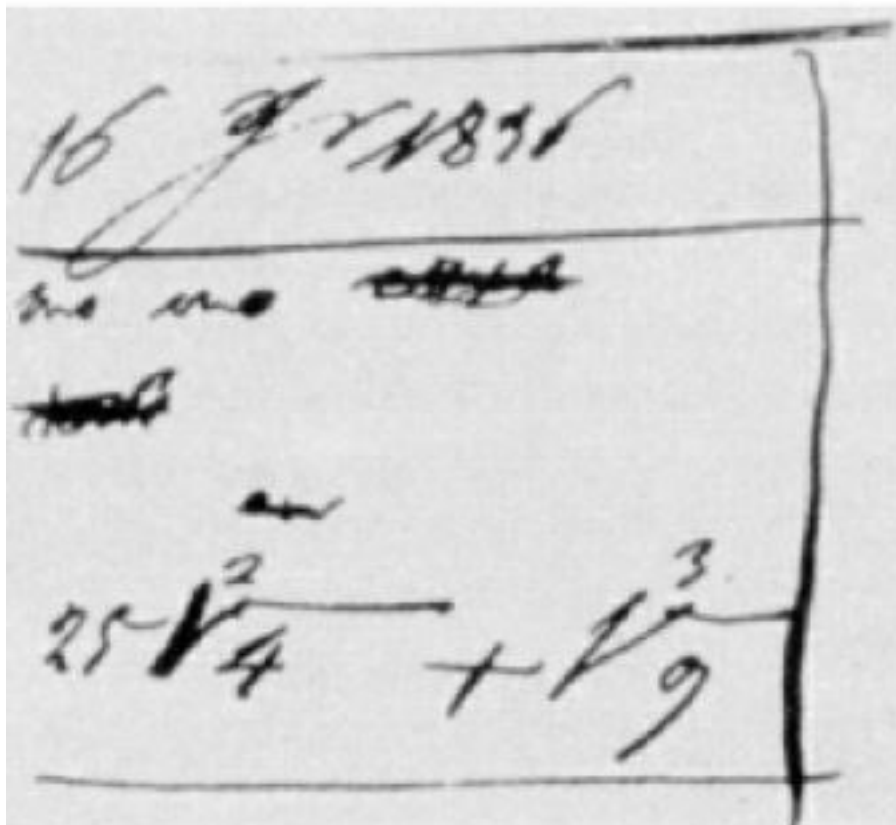


Длительный процесс кристаллизации, превративший сухую веточку в настоящее чудо, представился Бейлю, как разъясняет он сам, аллегорией зарождения и роста любви в соляных шахтах человеческих душ. Долго убеждал он мадам Герарди в том, что его сравнение удачно. Она же была не готова выйти из овладевшего ею в тот день состояния счастливого блаженства, дабы всесторонне исследовать вместе с Бейлем глубокий смысл этой, как она насмешливо заметила, вне всякого сомнения, изумительно прекрасной аллегории. Бейль увидел здесь проявление тех самых трудностей, с какими вновь и вновь сталкивался в своих поисках женщины, которая отвечала бы его внутреннему миру, и, как он отмечает, осознал, что никакие даже самые неординарные и решительные действия с его стороны не помогут убрать с дороги это препятствие. Так он открыл тему, которая будет занимать его как писателя годы и годы спустя. Вот он совершенно один году в 1826-м – ему почти сорок – сидит на скамье, обнесенной невысокой оградой, в тени двух красивых деревьев в саду монастыря *Minori Osservanti*<sup>8</sup> высоко над озером Альбано и медленно выводит на песке тростью, которую теперь, как правило, носит с собой, инициалы бывших возлюбленных, словно тайные руны собственной жизни. Инициалы означают Виржини Кюбли, Анджелу Пьетрагруа, Адель Ребюфель, Мелани Гильбер, Мину фон Грисгейм, Александрин Пети, Анжелин («*que je n'ai jamais aimé*») Берейтер, Метильду Дембовскую, а еще Клементину, Джулию и мадам Азур, чье имя он не может вспомнить. И точно так же, как не понимает он более имен этих далеких звезд, ныне ставших ему, как он пишет, чужими, не понимал он, когда писал свою книгу «О любви», почему всегда, когда он всерьез прилагал усилия, убеждая мадам Герарди поверить в любовь, ответ ее был неизменно печален, если не резок. Особенно сильно задетым чувствовал он себя в те отнюдь не редкие минуты, когда мадам Герарди, едва лишь он сам, смирившись, убеждал себя в справедливости основ ее философии, немедленно признавала определенную ценность и за иллюзией любви, вызванной к жизни кристаллизацией соли. Его приводило в ужас внезапное осознание собственной неполноценности и давящее ощущение неудачи. Осенью того года, когда состоялось их совместное путешествие в Альпы, был момент, и Бейль помнит его очень отчетливо, когда, выехав верхом к Рейнскому водопаду, они обсуждали в пути любовный<sup>9</sup> недуг художника Ольдофредди, о котором тогда много говорили в городе. Бейль, которого еще не покинула надежда на благосклонность мадам, обычно хорошо принимавшей его возвышенные речи, испытал настоящий ужас, когда она вдруг тихо, будто сама с собой, заговорила о божественном счастье, с которым ничто в этой жизни сравниться не может, и назвал Ольдофредди – имея в виду скорее себя, чем его, – жалким иностранцем. После этого он придержал коня и отстал от мадам Герарди, возможно и без того существовавшей лишь в его воображении, и три мили, что отделяли их от Болоньи, они проскакали, не перекинувшись более ни словом.

<sup>8</sup> Францисканцев-обсервантов (*ит.*).

<sup>9</sup> Которую я никогда не любил (*фр.*).





## All'estero <sup>10</sup>

Тогда, в октябре 1980 года, я выехал из Англии, где в одном из графств под гнетом серых туч живу уже без малого двадцать пять лет, и отправился в Вену в надежде, что перемена места поможет мне пережить совсем уж неблагоприятный период в жизни. В Вене, однако, сразу же по приезде оказалось, что дни мои, не заполненные теперь привычной работой за письменным столом или в саду, растянулись необычайно, и я действительно не знаю, куда себя деть. Каждое утро я заставлял себя встать пораньше и бродил по Леопольдштадту, Внутреннему городу или Йозефштадту словно бы бесконечными и бесцельными маршрутами, ни один из которых, как я, к собственному удивлению, выяснил потом, изучая карту, ни разу не вышел за пределы определенной четко очерченной области, формой напоминающей серп или полумесяц, заостренные углы которого располагаются на Венедигер-Ау за станцией Пратерштерн и по соседству с больничными корпусами в Альзергрунде. Вздумай кто-нибудь вычертить маршруты, какими я тогда ходил, у него сложилось бы впечатление, будто некто пытался на заданной плоскости проводить одну за другой все новые поперечные линии и зигзаги с тем, чтобы, достигнув границ рассудка, воображения и воли, вынужденно поворачивать назад. Мои нередко многочисленные блуждания по городу упирались, таким образом, в четкую границу; при этом я совершенно не отдавал себе отчета, что именно в моем тогдашнем поведении представлялось более непостижимым – непрерывная ходьба или же невозможность пересечь невидимую, но, как я думаю теперь, вполне определенную границу. Я знаю только, что для меня тогда было просто невозможно воспользоваться общественным транспортом и выехать, например, 41-м трамваем в Пётцляйнсдорф или 58-м – в Шёнбрунн, чтобы, как я не раз поступал в прошлом, провести день в Пётцляйнсдорфском парке или среди деревьев в Доротеенвальде или Фазангартене. Зайти же в кабачок или в кафе почему-то особых проблем не составляло. Наоборот, стоило подкрепиться или передохнуть, как ко мне возвращалось временное ощущение нормальности: в обновленном, не чуждом некоторой уверенности состоянии я даже временами верил, будто один телефонный звонок может без промедления положить конец моей длящейся уже много дней немоте. Однако те трое или четверо, с кем мне в тогдашних своих обстоятельствах хотелось бы побеседовать, были в отъезде, и, сколько ни названивай, даже самыми длинными гудками их сюда было не перенести. Когда, находясь в чужом городе, безуспешно один за другим набираешь телефонные номера, возникает совершенно особенная пустота. Когда никто не снимает трубку, испытываешь разочарование, чреватое последствиями огромной важности, как если бы в этой игре в номера речь вправду шла о жизни и смерти. Что оставалось мне после того, как я засовывал обратно в карман мелочь, в очередной раз со звоном выпавшую из телефонного автомата, кроме как продолжать и дальше без всякого плана метаться по городу до позднего вечера. При этом мне зачастую казалось, скорее всего из-за чрезмерной усталости, будто я вижу впереди кого-то знакомого. В подобных галлюцинациях, а ничем иным это быть не могло, участвовали исключительно люди, о которых я не вспоминал уже много лет, то есть для меня в известной степени покойные. В том числе те, кого точно не было среди живых, к примеру я видел и Матильду Зеелос, и нашего однорукого деревенского писателя Фюргута. Однажды на Гонзагагассе мне почудилось, что я узнал осужденного на сожжение и изгнанного из родного города поэта Данте. Довольно продолжительное время он шел, возвышаясь над другими прохожими, но не замечаемый ими, в своей характерной шапочке, на некотором расстоянии впереди меня, но, когда я ускорил шаги, чтобы нагнать его, он свернул на Хайнрихгассе, а когда я добрался до угла, его уже нигде не было видно. После таких наваждений во мне нарастало неясное беспокойство, выражавшееся в тошноте и головокружении. Контур

---

<sup>10</sup> За границей (*ит.*).

образов, которые я хотел удержать, растворялись, а мысли рассыпались прежде, чем мне удалось по-настоящему их понять. Временами, когда приходилось опираться о стену, а не то и искать спасения в подъезде, я опасался паралича или какой-нибудь болезни мозга и был в состоянии противодействовать этому, лишь совершенно изнуря себя ходьбой до самого позднего вечера. За те примерно десять дней, проведенных в Вене, я ничего не посетил, нигде не побывал, кроме кафе и закусочных, ни единым словом не перемолвился ни с кем, кроме кельнеров и официанток. Только галкам в скверике перед ратушей, если не ошибаюсь, я кое-что рассказывал, да еще покушавшемуся вместе с ними на мой виноград белоголовому дрозду, которого про себя я прозвал Сенафогелем. Растущая склонность подолгу сидеть на скамейках и бесцельно блуждать по городу, избегать нормальных кафе и отдавать предпочтение, как оказалось, перекусу в забегаловках, а то и вовсе торопливому поеданию пищи прямо из обертки – все это сказывалось на моем внешнем виде, хоть я и не отдавал себе в этом отчета. Тот факт, что я по-прежнему жил в отеле, вступал во все более явное противоречие с уже заметными в моем облике приметами падения. В привезенном из Англии полиэтиленовом пакете я теперь повсюду таскал с собой множество ненужных вещей, причем моя с ними связь противилась осознанию и крепла день ото дня. Поздно вечером, возвращаясь с прогулок в отель и ожидая в холле лифта, я прижимал пакет скрещенными руками к груди и спиной чувствовал при этом долгий вопрошающий взгляд ночного портье. Я не решался теперь включать в номере телевизор и не стал бы с уверенностью утверждать, что мне вообще удалось бы прервать это затяжное падение, если бы однажды ночью, когда я, сидя на кровати, медленно раздевался, меня не ужаснул сам вид моих ботинок, изнутри расплзшихся в лохмотья. Горло сдавило, в глазах потемнело – в тот день со мной уже случилось нечто подобное, когда после долгих блужданий по Леопольдштадту я через Фердинандштрассе и мост Шведенбрюкке вышел обратно в Первый район и оказался на площади Рупрехтсплац. Окна на втором этаже здания, где располагаются синагога и кошерный ресторан центра еврейской общины, были распахнуты – поскольку стоял на удивление прекрасный, будто из середины лета, осенний день, – и невидимые дети там, внутри, пели, как ни странно, на английском языке «Jingle Bells» и «Silent Night, Holy Night». Поющие дети – и вдруг эти драные и, как мне представилось, брошенные башмаки. Горы снега и башмаков – с этими словами в сознании я лег спать. Проснувшись наутро после глубокого сна без сновидений, ни разу не потревоженного даже проникавшим в окно гулом транспортного потока с Рингштрассе, я чувствовал себя так, словно в часы ночного отсутствия одолевал морские просторы. Прежде чем открыть глаза, я еще видел себя спускающимся по трапу большого парома и, едва ощутив под ногами твердую почву, решил отправиться вечерним поездом в Венецию, а оставшееся до отъезда время провести в Клостернойбурге в компании Эрнста Хербека.



Эрнст Хербек с двадцати лет страдает душевным расстройством. Впервые он попал в клинику в 1940 году. А до этого был подсобным рабочим на военном заводе. И вдруг почти полностью перестал есть и спать. По ночам он лежал без сна и считал про себя. Тело его ссохлось. Жизнь в семье, в особенности резкие суждения отца, разъедала, как он выражался, его нервы. Из-за этого он терял над собой власть, отшвыривал тарелки с едой, выливал суп под кровать. Порой состояние на время улучшалось. В октябре 1944 года его даже призвали на военную службу, но уже в марте 1945-го вновь отпустили. Через год после окончания войны дело дошло до четвертого, последнего, направления в клинику. Он тогда бродил ночами по улицам Вены, привлекал внимание своим поведением, морочил головы полицейским ложными сведениями. Осенью 1980 года, проведя в стенах психиатрического заведения в общей сложности 34 года, на протяжении которых он по большей части страдал от ничтожности собственных мыслей, а мир вокруг видел словно бы через тонкую сетку перед глазами, в качестве эксперимента он был из пациентов разжалован. Теперь Эрнст Хербек жил в городе, в доме для пенсионеров, и среди его обитателей не выделялся. Когда около половины десятого утра я добрался до этого дома, он уже ожидал меня, стоя на верхней ступеньке лестницы. Я помахал ему рукой еще с другой стороны улицы. Он тут же приветственно поднял вверх руку и, не опуская ее, пошел

по ступеням вниз, мне навстречу. Одет он был в костюм из шерстяной ткани в мелкую клетку со значком «Перелетной птицы» на лацкане. На голове небольшая мягкая фетровая шляпа, которую, когда ему стало жарко, он снял и нес в руке – в точности так, как, бывало, мой дед летом во время прогулок.



Как я и предлагал, мы отправились на электричке в Альтенберг и проехали несколько километров вдоль Дуная. В вагоне мы были единственными пассажирами. За окном в речной пойме сменяли друг друга вербы, тополя, ольха и ясени, огороды, сады и садовые домики. Время от времени открывались виды на воду. Эрнст ни единым словом не препятствовал им проноситься мимо. Ветерок из открытого окна обдувал ему лоб. Веки были полуопущены, прикрывая большие глаза. Мне пришло в голову странное слово «отпуск». День отпуска, отпускная погода. Ехать в отпуск. Отпуск. Длинною в жизнь. В Альтенберге мы прошли немного назад по шоссе, а потом свернули направо на тенистую дорожку, ведущую вверх к средневековому замку Грайфенштайн, очень значительному, причем не только в моей фантазии, но и в реальности до сих пор живущих у подножья скал грайфенштайнцев. В первый раз я был в Грайфенштайне в конце шестидесятых годов и смотрел тогда с панорамной террасы кафе на сияющий поток дунайских вод и заливные луга – на них как раз опускались тогда ночные тени. А в тот ясный октябрьский день, когда чудесным видом, сидя рядом друг с другом, наслаждались мы с Эрнстом, голубая дымка витала над морем листвы внизу, поднимавшимся вверх к самым стенам замка. Волны воздуха пробегали по верхушкам деревьев, и отдельные оторвавшиеся листочки, поймав восходящий поток, взлетали высоко вверх и мало-помалу скрывались из виду. Временами Эрнст явно отсутствовал. По несколько минут его десертная вилочка, замерев, торчала из пирожного. Марки, бросил он вдруг, раньше, мол, он собирал их, австрийские, швейцарские, аргентинские. Потом молча выкурил еще одну сигарету и, уже потушив ее, будто удивляясь всей своей прожитой жизни, повторил последнее слово – «аргентинские», вероятно казавшееся ему слишком уж экзотическим. Думаю, еще бы чуть-чуть и мы бы с ним оба в то утро научились летать – по крайней мере, лично я освоил бы навыки, необходимые для падения в пропасть. Но мы всегда упускаем самые благоприятные моменты. Остается добавить, что и вид с Грайфенштайна уже не тот. Прямо под замком построили гидроузел с плотиной. Русло реки выровняли, и нынешний вид едва ли как-то поможет человеческой памяти надолго его удержать.



Обратный путь мы проделали пешком. Для нас обоих он оказался чересчур долгим. Мы удрученно брели рядом под осенним солнцем. В Критцендорфе дома все никак не кончались. Жителей вообще не было видно. Все они сидели за обеденными столами и постукивали приборами о тарелки. Собака во дворе бросилась на выкрашенные зеленой краской металлические ворота, вне себя от ярости, будто с ума сошла. Большой черный ньюфаундленд, врожденная кротость которого, видимо, серьезно пострадала от жестокого обращения, длительного одиночества или слишком уж ясной погоды. В доме за штакетником ничто не пошевелилось. Никто не подошел к окну, ни одна занавеска не колыхнулась. Вновь и вновь зверюга атаковала решетку. Лишь изредка останавливалась и поднимала на нас взгляд, от которого мы, остолбенев, замирали на месте. Я даже пожертвовал во спасение души шиллинг, бросив его в жестяной почтовый ящик, прибитый к воротам. Шагая дальше, я ощущал во всем теле ледяной ужас. Эрнст еще раз остановился и обернулся к черной собаке, которая теперь неподвижно, молча стояла в полуденном свете. Может, надо было просто ее выпустить. И тогда она, вероятно, послушно бежала бы рядом с нами, а злой дух вышел бы из нее и отправился на поиски другого хозяина среди обитателей Критцендорфа или вселился бы во всех его обитателей сразу, и никто из них более не смог бы удержать ложку или вилку.



По Альбрехтштрассе мы, наконец, вошли в Клостернойбург. В северной его оконечности стоит заброшенное здание со стенами, сложенными из пустотелых блоков и гераклитовых плит. Окна на уровне земли заколочены досками. Стропильной фермы нет вообще. На месте крыши

вверх торчат только ржавые железные штыри. Все в целом навело меня на мысль о совершенном здесь тяжком преступлении. Эрнст ускорил шаги и быстро миновал этот ужасный памятник, бросив на него лишь беглый взгляд. Через несколько домов в начальной школе пели дети. И красивее всего как раз те, кому не вполне удавалось следовать изгибам мелодии. Эрнст остановился, повернулся ко мне, будто мы оба зрители в театре, и с особым сценическим выражением произнес фразу, как мне показалось, когда-то давно выученную наизусть: «Звук так красиво разливается в воздухе и возвышает нам душу...» Года два назад я уже стоял перед этим школьным зданием. Тогда я вместе с Ольгой приехал в Клостернойбург навестить ее бабушку, которую поместили в здешний дом престарелых на Мартинштрассе. На обратном пути мы вышли на Альбрехтштрассе, и Ольга не устояла перед искушением заглянуть в школу, куда ходила ребенком. В одном из классов – том самом, где в начале пятидесятых годов она сидела за партой, – спустя почти тридцать лет урок вела та же учительница, что и тогда, и в точности так же увещевала ребят не отвлекаться и не болтать. Однако в просторном вестибюле, в окружении нескольких закрытых дверей, которые в былые времена казались ей высокими, словно в церкви, Ольга, как она потом рассказала, безудержно разрыдалась. Во всяком случае, когда она вернулась на Альбрехтштрассе, где я ее ждал, она выглядела такой потрясенной, какой я прежде никогда ее не видел. Мы возвратились тогда в квартиру ее бабушки в Оттакринге, и Ольга, столкнувшаяся с непредвиденным вторжением прошлого, никак не могла успокоиться ни по дороге в Вену, ни весь вечер после.



Дом престарелых святого Мартина – длинное капитальное строение XVII или XVIII века. Бабушку Ольги, Анну Гольдштайнер, страдавшую той ужасной забывчивостью, которая быстро делает невозможными простейшие повседневные дела, поместили в общей спальне на пятом

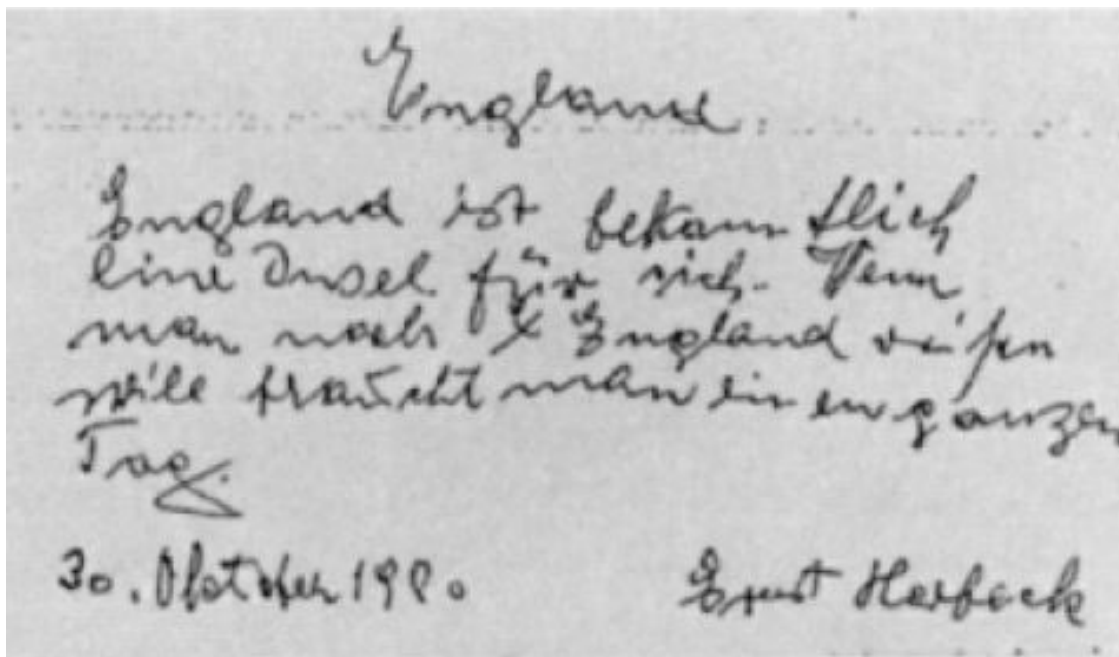
этаже, из окон которой, вдвинутых глубоко в стену и забранных решетками, открывался вид на кроны деревьев, обступивших довольно крутой склон с задней стороны заведения. Будто перед тобой море и волны. Суша, казалось, уже исчезла где-то за горизонтом. Гудит туманный горн. Все дальше и дальше в море уходит корабль. Из машинного отсека доносится ровный рокот турбин. Снаружи по коридору мимо бредут отдельные пассажиры, кое-кто с помощью персонала. Проходит вечность, пока они в своих растянутых во времени прогулках добираются от одной стороны дверного проема до другой. Будто стоишь, прислонившись к потоку времени. Паркетный пол двигался у меня под ногами. Тихие речи, шепот, шарканье, жалобы и молитвы наполняли пространство. Ольга сидела рядом с бабушкой, гладила ее по руке. Раздали манную кашу. Опять загудел туманный горн. Снаружи по зеленым волнам ландшафта мимо прошел еще один пароход. На капитанском мостике, широко расставив ноги, стоял матрос, ленты на бескозырке развевались, двумя цветными флажками вычерчивал он в воздухе сложные семафорные знаки. Ольга на прощание обняла бабушку, пообещала скоро снова прийти. Но не прошло и трех недель, как Анна Гольдштайнер, которая, к собственному удивлению, не могла уже вспомнить даже имена своих трех мужей, которых пережила, умерла от обыкновенной простуды. Иногда нужно совсем чуть-чуть. После того как нас уведомили о смерти Анны, у меня неделями не выходила из головы полупустая голубоватая пачка ишлевской соли, что стояла тогда под мойкой оттакрингской квартиры в муниципальном доме на Лоренц-Мандльгассе и никому теперь не понадобится.

Уставшие за время продолжительной прогулки, мы с Эрнстом выбрали с Альбрехтштрассе на городскую площадь, расположенную под уклоном. Довольно долго мы нерешительно стояли на тротуаре в ослепительном свете дня, пока, наконец, словно два фермера, не отважились пересечь поток адского движения, чуть не попав при этом под колеса грузовика со щебенкой. Добравшись до теневой стороны, мы нашли спасение в трактире. Темнота, объявлявшая нас, едва мы вошли, поначалу была до такой степени непроницаема для глаз, привыкших к яркому солнечному свету, что нам пришлось усесться за ближайший свободный столик. После временной слепоты зрение возвращалось постепенно и лишь до некоторой степени: из сумерек проступили очертания других посетителей, которые сидели, нависнув над столами, или, напротив, необычайно прямо, или откинувшись на спинки стульев, но все без исключения были здесь, как мне показалось, поодиночке, и общее пространство этого молчаливого схода пересекал только призрак официантки, словно бы передававший тайные послания и шепотом сказанные слова от одних посетителей другим или от посетителей тучному трактирщику. Эрнст не пожелал ничего есть, взял только одну из предложенных мною сигарет. С видимым уважением покрутил в руке пачку с надписями на английском. Глубоко, со знанием дела, затянулся. Сигарета, как написал он в одном из своих стихотворений, —

это монополия и ее  
следует выкурить. На  
том она и прогорит.

Уже сделав первый глоток из кружки с пивом, он отставил ее и сказал, что прошлой ночью ему снились английские скауты. Все, что я, пользуясь случаем, рассказал ему про Англию, про графство на ее востоке, где живу, про широкие пшеничные поля, превращающиеся осенью в необозримые бурые пустоши, про реки, куда прилив нагоняет морские воды, про наводнения, которые происходят там регулярно, как в давние времена в Египте, когда на поля выплывают на лодках, — все это Эрнст слушал терпеливо, однако с полным отсутствием заинтересованности, как человек, которому давно и в мельчайших подробностях известно все, что ему рассказывают. Я попросил его написать что-нибудь в моем блокноте, и он без малейшего промедления шариковой ручкой, вынутой из кармана куртки, положив левую руку на раскрытую страницу,

исполнил мою просьбу. Склонив голову набок, сильно оттянув назад кожу на лбу и опустив веки, он написал: <sup>11</sup>



Потом мы ушли. До его дома оставалось уже немного. Прощаясь, Эрнст подбросил вверх шляпу и на цыпочках, слегка наклонившись вперед, сделал разворот, чтобы в конце его снова поймать головой шляпу – детская забава и одновременно непростой трюк. Как и его утреннее приветствие, это навело меня на мысли о человеке, который долгое время был связан с цирком.

Поездка на поезде из Вены в Венецию почти не оставила следов в моей памяти. С час, наверное, смотрел я на проплывающие мимо более или менее густо заселенные юго-западные пригороды метрополии, пока успокоенный быстрой ездой, подействовавшей на меня подобно болеутоляющему средству после бесконечных пеших прогулок по Вене, не погрузился в сон. И во сне, когда снаружи все уже давно утонуло в темноте, я увидел пейзаж, который с тех пор не могу забыть. Нижняя часть явившейся мне картины была затянута надвигающейся ночью. По проселочной дороге женщина везла коляску к нескольким отдельно стоящим домам, на одном из которых, потрепанном с виду трактире, пониже фронтона большими буквами было написано имя Йозеф Йелинек. Над домами высились лесистые горы, их словно вырезанный ножницами зазубренный черный контур олицетворял сопротивление вечернему свету. А надо всем этим, сверкая, светясь, извергая пламя, рассыпая искры, вершина горы Шнееберг врывалась в последний свет неба, где плыли странные серо-розовые облачные образования, между которыми виднелись зимние планеты и лунный серп. Во сне у меня не было сомнений, что вулкан – это Шнееберг, а земля вокруг, над которой я вскоре вознесся сквозь сверкающие капли мелкого дождя, – Аргентина, бескрайняя, очень зеленая равнина с островками деревьев и множеством лошадей. Проснулся я от ощущения, будто поезд, долго и равномерно петлявший по долине, теперь вдруг спрыгнул с гор и рухнул вниз. Я рванул вниз окно. В лицо мне с треском ударили клочья тумана. Мы проезжали опасное место. Сине-черные каменные громады острыми клиньями едва не задевали поезд. Я высунулся наружу и тщетно старался

<sup>11</sup> Текст записи Эрнста: «Англия. Англия, как известно, особенный остров. Если кто захочет отправиться в Англию, ему потребуется целый день. 30 октября 1980 года. Эрнст Хербек» (нем.).

разглядеть их вершины. Взгляду открывались темные, узкие, изъеденные трещинами долины; горные родники, водопады в клубах белой пыли были так близко в обступившей меня ночи, что дыхание их прохлады вызывало дрожь на лице. Фриули, пронеслось у меня в голове, при этом я, конечно, сразу подумал о разрушениях, произошедших в этих местах всего несколько месяцев назад. Рассветные сумерки мало-помалу вытаскивали на свет дня сдвинутые со своих мест массы горной породы, обломки скал, обрушившиеся постройки, каменные осыпи, небольшие призрачные палаточные поселения. Почти нигде в округе не горел свет. Приплывшие из альпийских долин низкие облака распростерлись над опустошенной землей и соединились в моем представлении с картиной Тьеполо, которую прежде мне случалось подолгу разглядывать. На ней изображен пораженный чумой город Эсте: с виду совершенно невредимый раскинулся он на равнине. Задний план образует горная цепь с дымящейся вершиной. Разлитый по картине свет изображен будто сквозь завесу пепла. Почти веришь: именно этот свет и выгнал людей из города в чистое поле, где они некоторое время бродили, покуда их не свалила выбравшаяся наружу из них самих моровая язва. На переднем плане картины, в центре, лежит умершая от чумы мать, все еще обнимая живого ребенка. А слева стоит на коленях в молитве за жителей города святая Текла, лицо ее обращено кверху, туда, где в воздухе носятся небесные рати, готовые, стоит только к ним обратиться, дать нам представление о том, что вершится над нашими головами. Святая Текла, молись за нас, дабы мы счастливо избежали всякой заразы, смерти без покаяния и были милостиво избавлены от всех напастей. Аминь.

Когда, позволив себя побрить, и довольно грубо, цирюльнику на венецианском вокзале Санта-Лючия, я вышел на площадь, влажность осеннего утра еще плотно стояла в воздухе между домами и над водами Канале-Гранде. Тяжело груженные, так что ватерлиния ушла под воду, мимо тянулись баржи. С рокотом они выныривали из тумана, вспахивали желеобразную зелень канала и опять пропадали в белых испарениях. Прямо и неподвижно стояли на корме рулевые. Положив руку на штурвал, они неотрывно смотрели вперед; каждый являл собой символ готовности к последней правде, подумал я тогда и еще некоторое время шел взволнованный тою значительностью, какую приписал морякам, от набережной обратно через широкую площадь, вверх по улице Рио-Терра-Листа-ди-Спанья и через канал Каннареджо. Тому, кто вступает во внутреннее пространство этого города, никогда не известно заранее, на что сейчас упадет его взгляд и чей взгляд будет направлен на него самого. Стоит кому-то выйти на сцену, как он тут же покидает ее через другой выход. Все экспозиции по-театральному, до непристойности кратки, но в то же время отмечены таинственностью, словно тебя вовлекают в заговор, не спрашивая, помимо твоей воли. Если войти вслед за кем-нибудь в безлюдный переулок, то достаточно лишь самую малость ускорить шаги, чтобы до смерти перепугать впереди идущего. И наоборот, легко и самому превратиться в преследуемого. Смятение и ледяной ужас то и дело сменяют друг друга. Вот почему я испытал облегчение, когда, почти час проблуждав между высоких домов Гетто, вновь увидел воды Канале-Гранде возле Сан-Маркуолы. Торопливо, как местный житель, спешащий по делу, забрался я в катер-вапоретто. Туман тем временем рассеивался. Неподалеку от меня, на одной из задних скамей, сидел – еще чуть-чуть, и можно было бы сказать, лежал – человек в потертой одежде из грубого зеленого сукна, в котором я сразу же опознал Людвига II Баварского. Он выглядел несколько старше, худее и весьма странно беседовал с очень низкорослой дамой на английском языке, подчеркнуто в нос, как принято в высших слоях общества; в остальном совпадало все: болезненная бледность лица, широко распахнутые детские глаза, выющиеся волосы, гнилые зубы. *Il re Lodovico*<sup>12</sup>, никаких сомнений. Вероятно, подумал я, прибыл по воде в этот город, *città inquinata Venezia merda*<sup>13</sup>. После того как мы сошли на берег, я увидел, как он в развевающемся плаще шел вниз по набережной Рива-дельи-

<sup>12</sup> Король Людвиг (*ит.*).

<sup>13</sup> Заразный город, проклятая Венеция (*ит.*).

Скьявони, постепенно уменьшаясь в размерах – не только из-за увеличения дистанции, но и потому, что, обращаясь к своей действительно крошечной спутнице, наклонялся все ниже. Я не пошел за ними, вместо этого устроился в баре на набережной, выпил утренний кофе, изучил «Гадзеттино», записал себе кое-что для трактата о короле Людвиге в Венеции и полистал «Дневники путешествия по Италии» Франца Грильпарцера, относящиеся к 1819 году. Я купил эту книгу еще в Вене, поскольку в пути нередко чувствую себя как Грильпарцер. Подобно ему, не нахожу ни в чем удовольствия, испытываю горькое разочарование от любых достопримечательностей, и мне часто кажется, что было бы гораздо лучше остаться дома среди географических карт и всяких дорожных расписаний. Даже Дворцу дождей Грильпарцер отдает лишь очень условную дань уважения. При всей искусной изысканности зубцов и арок силуэт Дворца, как он пишет, неуклюж и напоминает крокодила. Как ему пришло в голову такое сравнение, он не знает. Таинственно, несокрушимо и твердо должно быть то, что заключается внутри, пишет он и называет Дворец дождей каменной загадкой. Сущность этой загадки, по-видимому, составляет страх, ибо в Венеции Грильпарцера ни на минуту не покидает ощущение тревоги. Он, правовец, непрестанно размышляет об этом Дворце, где размещались органы правосудия, а в самых глубоких внутренних норах, как он выражается, высиживает птенцов невидимый принцип. Усопшие гонители и гонимые, убийцы и убиенные встают перед ним с сокрытыми лицами. Дрожь охватывает бедного сверхчувствительного чиновника.

Одним из таких гонимых, не поладивших с венецианским правосудием, был и Джакомо Казанова. В напечатанной впервые в Праге в 1788 году книге «*Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise qu'on appelle Les Plombs écrite à Dux en Bohème l'année 1787*» он дает весьма широкое представление об изобретательности тогдашней уголовной юстиции. Например, Казанова описывает аппарат для удушения. Жертву сажали спиной к стене, на которой закреплена скоба в форме подковы, куда голову приговоренного просовывали таким образом, что скоба охватывала половину шеи. Вокруг горла оборачивали шелковую ленту и наматывали на лебедку, которую подручный медленно вращал и потом долго удерживал, пока не замрут последние судороги. Этот аппарат находится в тюрьме под свинцовой крышей Дворца дождей. Казанове шел тридцатый год, когда он был туда помещен. Утром 26 июля 1755 года в его комнату вошел вооруженный мессер-гранде. Казанове было приказано незамедлительно подняться, передать из рук в руки все, что было у него из написанного им самим или кем-либо иным, одеться и следовать за пришедшим. Слово «трибунал», пишет он, полностью его парализовало, сохранив ему лишь ту степень телесной свободы, что необходима для повинования. Механически он приводит себя в порядок, надевает лучшую сорочку и только что сшитое новое платье, будто собирается на свадьбу. Чуть позже он уже в чердачном пространстве Дворца, шесть маховых сажений в длину, две – в ширину. Сама камера, в которую его поместили, имеет в длину и ширину по четыре метра. Потолок так низок, что стоять он не может, и мебели нет никакой. Из стены торчит доска шириной в один фут, стол и кровать одновременно, туда он и кладет свой красивый шелковый плащ, столь неудачно опробованное новое платье и шляпу, украшенную испанским кружевом и белым пером цапли. В камере до ужаса жарко. Сквозь прутья решетки Казанова видит, как по чердаку шныряют крысы размером с зайца. Он подходит к окошку, за которым виден клочок неба. Здесь он без движения пребывает целых восемь часов. Никогда в жизни, сообщает он, не ощущал он во рту такой горечи, как тогда. Уныние более не желает его отпускать. Самые жаркие дни в году. Пот течет с него ручьями. Две недели у него нет стула. Когда окаменевший кал, наконец, выходит, ему кажется, он умрет от боли. Казанова размышляет о пределах человеческого рассудка. И приходит к выводу, что хотя люди сходят с ума нечасто, как правило, их отделяет от сумасшествия не так уж и много. Достаточно ничтожного сдвига, и ничто уже не останется прежним. В своих размышлениях Казанова сравнивает ясный рассудок со стеклом, которое остается целым, если его не разбивать. Но как же просто его разбить! Достаточно одного неверного движения. И тут он прини-

мает решение взять себя в руки и научиться по возможности осознавать свое положение. Скоро становится ясно: в этой тюрьме сидят исключительно люди уважаемые, которых по причинам, известным, правда, только высшей власти и самим взятым под стражу не сообщаемым, следует изолировать от общества. Выступая против преступника, трибунал заранее убежден, что это преступник. В конце концов, правила, согласно которым действует трибунал, поддерживаются сенаторами, избираемыми из числа самых талантливых и добродетельных граждан. Казанова понимает, ему придется смириться перед тем, что реальный вес здесь имеет правовая система Республики, а не его личное правосознание. И фантазии о мести, какие он лелеял в начале своего заключения – он поднимет народное восстание, возглавит его и сметет прочь правительство и аристократию, – в реальности совершенно неисполнимы. Вскоре он уже готов простить причиненную ему несправедливость, лишь бы его, наконец, освободили. К тому же выясняется, что до определенной степени с властью можно прийти к взаимопониманию. На свой страх и риск он устраивает, чтобы ему в камеру принесли кой-какие необходимые вещи – книги, продукты. В начале ноября в Лиссабоне происходит сильное землетрясение, которое порождает волну, дошедшую на севере до Голландии. Казанова видит, как тяжелая балка чердачного перекрытия над его окошком повернулась и опять <sup>14</sup>встала на место. Отныне он оставляет всякую надежду выйти из заключения на свободу и гадает даже, не предстоит ли ему сидеть здесь до конца жизни. Все его мысли направлены на подготовку побега, которая осуществляется с необходимой серьезностью и занимает целый год. Поскольку теперь он может ежедневно некоторое время прогуливаться туда-сюда по чердаку, где свален всякий хлам, ему удается раздобыть кое-что полезное для реализации замысла. При этом он натывается на стопку старых тетрадей с заметками об уголовных процессах прошлого века. Помимо обвинений по адресу духовников, которые неподобающим образом нарушают тайну исповеди, там в подробностях описаны практики школьных учителей, уличенных в педерастии, и множество других, самых причудливых, так сказать, трансгрессий, изображенных для услаждения ученых юристов. Особенно часто, как узнает Казанова из старых записей, встает вопрос о соращении девственниц в сиротских домах города: исключения не составлял даже тот, воспитанницы коего изо дня в день возносили свои голоса к представляющей три кардинальские добродетели потолочной росписи в церкви Посещения Девы Марии неподалеку от Пьомби на набережной Рива-дельи-Скьявони, которую Тьеполо завершил вскоре после взятия Казановы под стражу. Вне всякого сомнения, судебное производство в те времена – да и позднее тут немного что изменилось – занималось в основном регулированием любовного инстинкта, и среди изрядного количества вяло грезящих под свинцовыми крышами арестантов нашлось бы немало ненасытных подобного рода, чья жажда раз за разом приводила их в ту же точку.

К осени второго года заключения приготовления Казановы продвинулись столь далеко, что побег мог быть осуществлен. Время удобное, поскольку инквизиторы на днях отправляются на *terra firma*, на материк, а Лоренцо, надзиратель, ввиду отсутствия начальства со знанием дела предается пьянству. Чтобы выбрать точный день и час, Казанова обращается к поэме Лудовико Ариосто «*Orlando Furioso*»<sup>15</sup>, составляя запрос по системе наподобие *sortes virgilianae*<sup>16</sup>. Сначала он записывает вопрос, на который ищет ответа, затем из чисел, исчисленных по словам, составляет перевернутую пирамиду, а потом, трижды совершив операцию по вычитанию числа 9 из каждой пары цифр, получает первую строку седьмой строфы девятой песни «*Orlando Furioso*», которая звучит так: «*Tra il fin d'ottobre e il capo di novembre*»<sup>17</sup>. Столь точное указание для Казановы – тот самый знак, которого он ждал, ибо, по его представлениям,

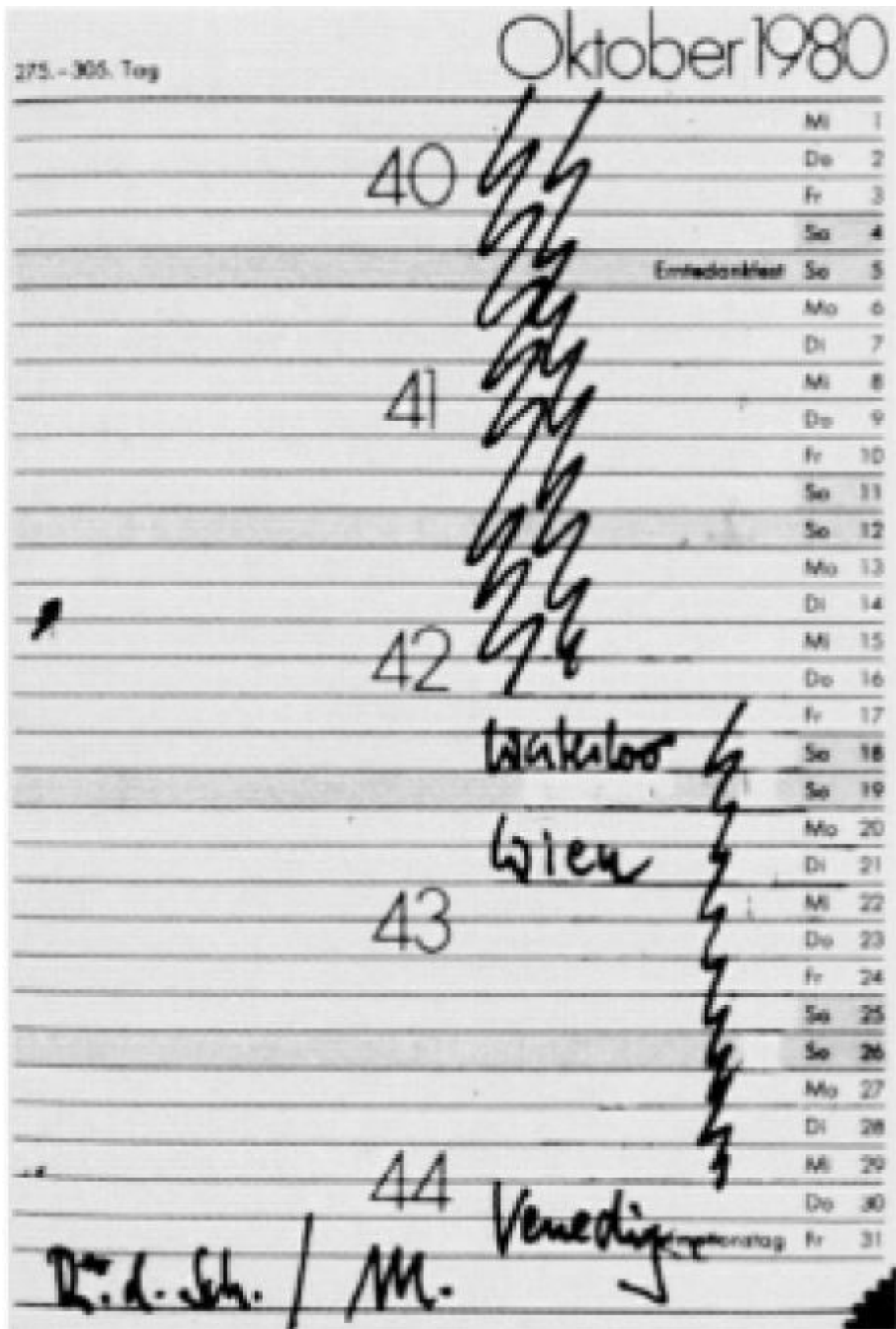
<sup>14</sup> «История моего побега из венецианской тюрьмы, именуемой Пьомби, писанная в замке Духцов в Богемии в 1787 году» (фр.).

<sup>15</sup> «Неистовый Роланд» (ит.).

<sup>16</sup> Вергилиев оракул (лат.).

<sup>17</sup> «Между октябрем и ноябрем» (ит.).

неопределенность огромного множества условий неподвластна даже самому ясному разуму, однако Закон действует и ему следует подчиняться. Описанный опыт Казановы подтолкнул и меня к произвольной, на первый взгляд, попытке измерить неведомое сходной игрой слов и цифр; я обратился к собственному календарю и, к своему удивлению, вернее ужасу, обнаружил, что тот день 1980 года, когда я читал заметки Грильпарцера, сидя в баре на Рива-дель-Скьявони между отелем «Даниэли» и церковью Посещения Девы Марии, а значит, совсем недалеко от Дворца дождей, пришелся на последний день октября, иными словами, был годовщиной дня или, скорее, ночи, когда



Казанова со словами «E quindi uscimmo a rimirar le stelle» на устах взломал свинцовый панцирь крокодила. Сам я в тот вечер 31 октября, сидя в баре на набережной, куда вернулся и после ужина, вступил в разговор с венецианцем по имени Малакьо, изучавшим астрофизику в Кембридже и, как выяснилось вскоре, смотревшим на все, а не только на звезды, с

огромного расстояния. Около полуночи мы с ним отправились на его лодке, причаленной возле мола, вверх по драконьему хвосту Канале-Гранде мимо железнодорожной станции и искусственного острова Тронкетто на большую воду, туда, откуда виден растянувшийся на несколько миль по другой стороне освещенный фронт нефтеперерабатывающих заводов Местре. Малакьо выключил мотор. Лодка качалась, поднимаясь и опускаясь вместе с волнами, и длилось это, как мне показалось, довольно долго. Перед нами догорал блеск этого мира, на который мы не могли насмотреться, словно на Град небесный. Чудо жизни, возникшей из углерода, слышал я слова Малакьо, зарождается в пламени. Вновь заработал мотор, нос лодки поднялся из воды, по широкой дуге мы вошли в Канале-делла-Джудекка. Молча мой капитан указал на запад, на <sup>18</sup>*Incenitore Comunale* на безымянном джудеккском острове. Мертвая тишина бетонных сооружений под белым флагом дыма. На мой вопрос, продолжается ли сожжение мусора и ночью, Малакьо ответил: <sup>19</sup>*Si, di continuo. Brucia continuamente*. Сжигают без остановки. В поле зрения возникла мельница Стакки – из тех, что построены в XIX веке из миллионов кирпичей; слепыми окнами смотрит она через воды Джудекки на морской порт. Здание до того огромно, что Дворец дождей поместился бы в нем несколько раз, и невольно возникает вопрос, действительно ли только зерно здесь перемалывают. Как раз когда мы проплывали мимо высящегося во тьме фасада, из-за облаков вышла луна, и в ее сиянии высветилась размещенная под левым фронтоном золотая мозаика, изображающая жницу с пучком спелых колосьев, – образ в высшей степени странный среди камней и вод здешнего ландшафта. Малакьо сказал, что в последнее время много думал о Воскресении и спрашивал себя о смысле утверждения, будто однажды кости наши и прах будут перенесены ангелами пред очи Иезекииля. Ответа он не нашел, но в реальности ему хватило вопроса. Мельница уплыла в темноту, а перед нами вынырнули башня Сан-Джорджо и купол собора Санта-Мария делла Салюте. Малакьо направил лодку назад, к моему отелю. Больше сказать было нечего. Лодка причалила. Мы подали друг другу руки. И вот я уже на берегу. Волны плещут о камни, обросшие лохматым мхом. Отплывая, лодка заложила вираж. Малакьо еще раз помахал мне рукой и крикнул: «*Ci vediamo a Gerusalemme*». И отплыв еще дальше, уже громче повторил: «На будущий год в Иерусалиме!» Я пошел через площадь к отелю. Вокруг ни движения. Все лежало в своих постелях. Даже ночной портье покинул свой пост и, оставив открытой дверь, отдыхал в каморке позади швейцарской на странном узком ложе с высокими ножками, будто в выставленном для прощания гробу. На экране телевизора подрагивала тестовая картинка. Только машины поняли, что спать больше нельзя, думал я, поднимаясь по лестнице в свой номер, где и меня вскоре одолела усталость. <sup>20</sup>

В этом городе просыпаешься по-другому, совсем не так, как обычно. День наступает тихо, пронзаемый лишь отдельными криками, звуком поднимаемых металлических жалюзи, хлопаньем голубиных крыльев. Как часто, думал я, совсем иначе, чем сейчас, лежал я ранним утром в отеле в Вене, во Франкфурте или Брюсселе и, скрестив руки под головой, внимал не тишине, как здесь, но с неусыпным ужасом прислушивался к грохочущему прибою уличного движения, который и раньше на протяжении многих часов обрушивался на меня. Вот, значит, каков он, неизменно думал я в такие мгновения, новый океан. Беспреданно, сильными толчками по всему городу прокатываются волны, делаясь все громче и громче, растекаясь все дальше и дальше, и в своеобразном неистовстве достигают вершин уровня шума, опрокидываются, бегут дальше уже по инерции, бурунами, по асфальту или брусчатке, а в пробках у светофоров вызревают тем временем новые волны шума. С годами я пришел к заключению, что ныне именно из этого грохота и происходит та жизнь, которая будет после нас и постепенно направит нас к гибели, так же как мы постепенно вели к гибели то, что было задолго до нас.

<sup>18</sup> «И здесь мы вышли вновь узреть светила» (*ит.*).

<sup>19</sup> Городские мусоросжигатели (*ит.*).

<sup>20</sup> Да, продолжается. Сжигают без остановки (*ит.*).

И потому совершенно невероятной, словно грозящей в любую минуту лопнуть, казалась мне тишина над Венецией в это раннее утро Дня Всех Святых, когда белый воздух, проникая в мою комнату через полураскрытые окна, окутывал все, и я лежал в море тумана. Даже селение В., где прошли первые девять лет моей жизни, в День Всех Святых и следующий за ним День поминовения усопших всегда бывало окутано очень густым туманом. А жители его, все без исключения, облачившись в черное платье, шли к могилам, которые накануне привели в порядок – выпололи летние растения и сорняки, вычистили граблями дорожки и подмешали в землю сажу. Ничто в детстве не казалось мне столь же исполненным смысла, как эти два дня памяти о страданиях святых мучеников и молитв о страждущих в чистилище душ, когда вокруг в тумане бродили по кладбищу темные, странно склоненные силуэты жителей селения, будто именно им предназначались здешние квартиры. В особенное волнение меня ежегодно приводило поедание поминальных хлебцев, которые Майрбек выпекал специально к этому дню, в количестве не меньшем и не большем, чем по одному на каждого мужчину, каждую женщину и каждого ребенка. Хлебцы были из сдобного теста и настолько малы, что легко помещались в кулаке. Укладывали их рядами по четыре штуки. И обсыпали мукой. Помню, однажды мука, оставшаяся у меня на пальцах после того, как я съел такой хлебец, представилась мне своего рода откровением, и вечером того дня я долго еще рылся деревянной ложкой в мучном ларе, стоявшем в спальне бабушки и дедушки, в надежде раскопать скрытую там, как я думал, тайну.

Занятый своими заметками, а прежде всего предаваясь собственным мыслям, кругами то расширявшимся, то сужавшимся вновь, и временами оказываясь в объятиях совершеннейшей пустоты, в тот день, 1 ноября 1980 года, я так ни разу и не вышел из комнаты. Мне казалось тогда, будто лишиться себя жизни и вправду можно посредством одних только раздумий и размышлений. Хотя я закрыл окна и помещение слегка прогрелось, мои руки и ноги по причине полной неподвижности все сильнее немели и леденели – до такой степени, что, когда вызванный мною кельнер принес в номер бутерброды и красное вино, сам я являл собой нечто среднее между уже погребенным и выставленным для прощания усопшим, который, пусть молча, но способен еще испытывать благодарность за поднесенные возлияния, будучи сам, однако, не в состоянии уже принять ни капли. Я представлял себе, каково было бы, если бы по серым водам лагуны меня повезли на остров-кладбище, в Мурано, или еще дальше, на острова Сант-Эразмо или Сан-Франческо-дель-Дезерто в топах Святой Екатерины. С такими мыслями я погрузился в неглубокий сон и увидел, как поднимается туман и расширяется зеленое пространство лагуны, залитое майским солнцем, а острова, будто шапки травы, выныривают из безмятежности водных просторов. Я видел остров-больницу Ла-Грация с круглым сооружением, из окон которого во все стороны выглядывают и машут руками тысячи сумасшедших – будто плывут мимо на большом корабле. Святой Франциск лежал лицом вниз, покачиваясь в камышовой заводи, а по топам шагала святая Екатерина, держа в руке небольшую модель колеса, на котором ее замучили. Закрепленное на палочке, оно с жужжанием вращалось на ветру. Фиолетовые сумерки стужались над лагуной; когда я проснулся, меня окружала темнота. Я спросил себя, что имел в виду Малакьо, когда сказал: «*Ci vediamo a Gerusalemme*», попытался – безуспешно – вспомнить его лицо и глаза, разволновался, подумал, не навесит ли мне вновь бар на набережной, но чем больше размышлял, тем меньше был способен сдвинуться с места. Вторая ночь в Венеции миновала, прошел День поминовения усопших, прошла и третья ночь, и в понедельник утром я в странном состоянии невесомости снова пришел в себя. Горячая ванна, вчерашние бутерброды, красное вино и газета, которую по моей просьбе принесли в номер, настолько привели меня в чувство, что я сумел собрать сумку и продолжить путь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.